

ГЛАВА I ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ

Иногда в провинции встречаешь жилища с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие грустные развалины, как сухие, бесплодные, обнаженные степи; заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнаженных, диких степей, и прах развалин. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемым; но скоро, однако ж, разуверишься: подождав немного, непременно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченного к окну шумом шагов на улице.

Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюре. Дом стоял в конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замечательна звонкостью неровной булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, теснотой и угрюмым видом домов, прилежащих к Старому городу, над которым возвышаются древние, полуразвалившиеся укрепления.

Дома крепки и прочны, хотя большей частью выстроены из дерева, и некоторые существуют уже около трех веков. Странная архитектура придает городу вид древности и оригинальности и обращает на себя

внимание художника и антиквария. Например, невольно бросаются в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрой, причудливой резьбой и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом — концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем; они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокой, острой кровлей, полусгнившей от действия солнца и дождя и погнувшейся под тяжестью годов. Далее — подоконники, старые, ветхие, почерневшие от времени и со сгладившейся резьбой; вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне бедной, трудолюбивой мастерицы. Непременно остановят внимание ваше эти массивные двери, обитые тяжелыми гвоздями, испещренные иероглифами и надписями. Смысл надписей различен: здесь она дышит протестантским фанатизмом, там читаешь проклятие лигера Генриху IV; какой-нибудь горожанин вырезал отличия своего *колокольного дворянства*, славу своего позабытого городского старшинства; словом, найдете все — историю, летописи, предания. Возле бедного оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина; на дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году.

Нижние этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины; любители Средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, древностью простой и наивной. Эти низкие помещения мрачны, глубоки, без украшений ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом; одна половинка неподвижна, другая, с прикрепленным к ней колокольчиком, целый день скрипит, звонит, в движении. Свет

и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или через отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нем утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами; днем ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары налицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трех кадок с соленой треской, из нескольких кусков парусины, веревок, листов латуни, подвешенных к потолочным балкам, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдете — девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками, оставляет свое рукоделие, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на два су, или на двадцать тысяч франков; купец-флегматик услужлив или горд, смотря по своему обыкновению.

Вы встречаете купца, промышленяющего тесом, у дверей его дома. Ему, кажется, нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Заглянете в его лавку: в ней валяется несколько обручей и куча бочарных досок; но на пристани магазина его станет на всех бочаров анжуйских. По урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит — он богач, дождь — он разорен. Часто в одно утро цена на бочки возвышается вдруг до одиннадцати франков или спадает до шести ливров за штуку. Здесь, как и в Турени, погода — все в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы леса, бочары, трактирщики — у всех одна тоска, одна забота: погода. Ложась спать, боятся ночного мороза. Проклинают дождь, ветер, засуху или молят о дожде, о засухе; вечная борьба природы с расчетами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах.

— Золотое время,— говорит сосед соседу на старой сомюрской улице, — ни облачка!

— Червонцами заждит, — отвечает сосед, расчитывая барыш по лучу солнечному.

Летом в субботу, часов в десять вечера, ни в какой лавке вам не продадут ни на су товару. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник или хоть какой-нибудь огород, и хозяин едет дня на два погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладив барыш, купец покоен и выгадывает из двенадцати почти десять часов на удовольствие, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушки освещаются у хозяина, хорошо ли ее приготовили. Беда девушке, некстати взглянувшей в окошко: ее оговорят, засмеют, пересудят, осудят. Все налицо, каждый дом к услугам соседей, и уж как ни огораживайся и ни запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор.

Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе: каждое семейство располагается у дверей своего дома, завтракает, обедает, спорит, ссорится. Всякий прохожий замечен. Еще со старых времен умели в провинциальных городках осмеять и оговорить иностранца, но об этом долго рассказывать. Скажу только, что от этого-то и окрестили в *болтливых* жителей Анжера, особенно отличавшихся сплетнями и пересудами.

Палаты дворян, *отели*, некогда ими обитаемые, расположены в Старом городе. Дом, мрачный и угрюмый, куда сейчас перенесем мы читателей, был из числа этих древних зданий, остаток старых дел, памятник старого времени, времени простого и незатейливого, от которого давно уже мы отреклись и отступились.

Пройдя с вами по дороге, так богатой воспоминаниями, навевающими и грусть, и думу о прошедшем, я укажу вам на это мрачное углубление, посреди которого притаились ворота *дома господина Гранде*.

Но мы не поймем всего значения, всего смысла фразы: *дом господина Гранде*. Нужно познакомиться сначала с самим господином Гранде.

Кто не жывал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнение и мысли сомюрских жителей насчет г-на Гранде. Этот господин (есть еще в Сомюре люди, которые запросто говорят о нем: «старик Гранде, папа Гранде», но они давно уже заметно начали переводиться), так этот-то г-н Гранде в 1789 году был не более чем простой бочар; дела его шли не худо, он умел писать, читать и считать.

Когда Французская Республика объявила о продаже монастырских имений, Гранде, которому было тогда уже лет под сорок, женился на дочери богатого купца, торговавшего лесом. Соединив свой капитал с приданым жены своей и достав, сверх того, две тысячи луидоров, он положил свои деньги в карман и явился в казначейство округа. Там, сунув суровому санкюлоту, наблюдавшему за продажей народного имущества, золотую взятку в двести луидоров, занятых у тестя, законно и справедливо вступил он во владение лучшими плантациями округа, старым аббатством и сколькими-то фермами и арендами.

Сомюрские жители любили тишину и не любили революции. Между тем Гранде прослыл смелым, отважным республиканцем, патриотом, человеком, понимавшим новое время и новые идеи, тогда как он только и мыслил о торговле да о виноградниках. Его сделали членом Управления Сомюрского округа, и Гранде удалось оставить впечатление миротворца и в управлении, и в торговле.

В первом отношении он покровительствовал блаженной памяти дворянам и всеми силами старался замедлить и даже уничтожить продажу земель эмигрантов. Что касается до торговли, то ему удалось сделать превыгодный оборот поставкой в армию до двух

тысяч бочек белого вина. В уплату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать их последними.

Наступила эпоха Консульства. Почтенный, уважаемый Гранде был сделан мэром; судил хорошо, торговал еще лучше. Во времена Империи Гранде стали называть *господином Гранде*. Наполеон не любил республиканцев, а так как Гранде считался во время оно санкюлотом, то он сменил его, назначив на его место богатого помещика, человека с надеждами, будущего барона Империи. Г-н Гранде без сожаления сложил с себя атрибуты власти гражданской. В правление свое, ради казенной выгоды, наделал он прекрасных дорог из города в свои поместья, дом и земли его были весьма выгодно кадастрированы, платить налоги приходилось ему самые умеренные. Его огороды и виноградники благодаря неусыпным попечениям стали в первом разряде по достоинству и служили образцами для других хозяев. Чего же более? Оставалось разве попросить орден Почетного легиона.

Все это было в 1806 году; Гранде было тогда пятьдесят семь лет, жене его — около тридцати шести. Их единственная дочь, плод законного супружества, была лет десяти.

В этом году судьба, вероятно хотевшая утешить его в неудачах политических, доставила ему одно за другим три наследства. Сперва после матери г-жи Гранде, урожденной Бертельер, потом от старика, дедушки г-жи Гранде, и, наконец, от г-жи Жантилье, его бабушки по матери. Никто не знал цены этим трем наследствам. Покойные, все трое, были так скупы, что держали в сундуках мертвые капиталы и втайне наслаждались своими сокровищами. Старик Бертельер не хотел ни за что пустить в оборот свои деньги, называл все обороты мотовством, расточительностью

и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на проценты.

В Сомюре рассчитывали наследство *по солнцу*, то есть по ежегодному доходу с виноградников.

Теперь Гранде, вопреки всевозможным идеям о равенстве, озолотив себя, стал выше всех и сделался важным лицом в своем городе. У него было сто десятин земли под виноградниками; в хорошие годы получал он с них от семисот до восьмисот бочек вина; тринадцать ферм, старое аббатство и более ста двадцати семи десятин земли под лугами, на которых росли три тысячи тополей, посаженных в 1793 году; наконец, дом, в котором он жил, был его собственный. Это было на виду. Что же касается до капиталов, то в целом Сомюре было всего два человека, которые могли что-нибудь знать об этом; то были г-н Крюшо, нотариус, ходок по денежным делам и оборотам г-на Гранде, а другой — г-н де Грассен, богатейший банкир в Сомюре; с ним потихоньку старик обрабатывал кое-какие сделки. Но хотя Крюшо и де Грассен вели дела скрытно и в глубокой тайне, в обществе они выказывали Гранде такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов имущества бывшего мэра.

Словом, в Сомюре не было никого, кто бы не был твердо уверен, что у Гранде спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, и что старик по ночам предастся невыразимым наслаждениям, доставляемым созерцанием огромной груды золота. Скупые особенно готовы были присягнуть в этом, изучив взгляд старика, взгляд, горевший каким-то отблеском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределенным тайным выражением, схватывает неизвестные оттенки, усваивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного; взор

этот быстр и робок, жаден, таинствен; обычные его знают, научились ему: это условный знак, *франкманство* страсти.

Итак, Гранде пользовался всеобщим почтением и уважением как человек, который никогда никому не был должен, как человек ловкий, опытный во всяком деле и во всякой сделке. Например, старый бочар умел с необыкновенной точностью определить, нужно ли ему тысячу бочек или пятьсот при настоящем сборе. Наконец, как человек, которому удались все спекуляции и у которого всегда было несколько бочонков в продаже в то время, как дешевели деньги; который умел при случае спрятать товар свой в подвалы и выждать время, когда бочонок вина будет стоить двести франков, тогда как другие продавали свое вино по пяти луидоров за бочку. Так, в 1811 году богатый сбор винограда был умно припрятан, медленно продан, и Гранде заработал двести сорок тысяч ливров одной осторожностью. В коммерции он был ловок, жаден, силен, как тигр, как боа. Он умел при случае спрятать свои когти, свернуться в клубок, выждать минуту и, наконец, броситься на жертву. Потом он растягивал ужасную пасть кошель своего, сыпал в него червонцы, завязывал, прятал кошель — и все это самодовольно, холодно, методически, как змея, спокойно переваривающая проглоченную добычу. Никто при встрече с ним не мог освободиться от особенного чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Сомюре не попробовал вежливого удара его холодных, острых когтей? Тому Крюшо сумел достать денег для покупки земли, да по одиннадцати на сто; тому де Грассен разменял вексель, да с огромным учетом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им, как национальной славой. Часто

слышали, как купец какой-нибудь или трактирщик с тайным удовольствием говорил заезжим:

— Да, сударь, водятся и у нас богачи, миллионеры, два-три дома. Что же касается господина Гранде, так уж вряд ли и сам-то он перечтет свое состояние.

В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в четыре миллиона. Но так как с 1793 по 1817 год одних доходов с земель было ежегодно сто тысяч франков, то можно было заключить, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда, бывало, по окончании партии в бостон или беседы о виноградниках солидные люди разговаривали о том о сем, наконец сведут на старика Гранде и скажут, например: «У старика Гранде теперь есть верных шесть миллионов», то Крюшо и де Грассен, если слышали слова эти, всегда прибавляли с какой-то таинственностью:

— Дальновиднее же вы нас! Нам так никогда почти не удавалось свести верных счетов.

Заезжий парижанин скажет, бывало, слово-другое о Ротшильде или о Лафите, сомюрцы тотчас спросят: «Так же ли богаты они, как, например, Гранде?» И ежели им отвечали насмешливой улыбкой, то они покачивали головами в знак недоверчивости.

Подобное состояние облачало золотой мантией все деяния этого человека. И если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, то решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Сомюре, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, мигание взгляда считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводили следствия, и всегда почти верные и безошибочные.

— Зима будет холодная: Гранде надел уже теплые перчатки. Не худо позаботиться о продаже вина.

Или:

— Гранде закупает много досок. Славное вино будет в этом году!

Никогда Гранде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, капуст, кур, яиц, масла и зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник, не в счет договора, должен был в известное время являться к нему за зерном, смолоть и представить его мукой. *Длинная Нанета*, единственная служанка в целом доме, довольно пожилая, сама пекла по субботам хлеб на все семейство. Плодов Гранде собирал так много, что продавал их на рынке. Дрова рубились в его закатниках, или употреблялись вместо них старые, полусгнившие изгороди, обходившие кругом поля его. Фермеры же рубили и дрова и из учтивости сами складывали их в сараи, за что он обыкновенно был им *благодарен*. Единственные издержки его были: *туалет* жены и дочери, плата за их два места в церкви и за просфоры, свечи, жалованье Длинной Нанеты; лужение ее кастрюль, издержки судебные на купчие, квитанции и залого; наконец — на поправку его строений. У него было триста арпанов лесу (недавно купленного); надзирали за ним сторожа соседей, за что *обещал* он им дать жалованье. Только после покупки лесу на столе у него стала появляться дичь.

Говорил он мало. Все приемы его были весьма просты и обыкновенны. Изъяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. С самой революции, когда впервые он обратил на себя внимание, чужак начал заикаться, особенно с ним это случалось в каком-нибудь споре или когда приходилось долго говорить. Но заикание, так же как и многословие, несвязность речи и недостаток в ней логического порядка, было чистым при творством, а не недостатком образования, как пола-

гали некоторые. Мы объясним эту историю впоследствии. Впрочем, он не затруднялся разговором, и с него довольно было четырех фраз, словно четырех алгебраических формул, для всевозможных счетов, расчетов и рассуждений в его частной и домашней жизни; вот они:

- Я не знаю.
- Не могу!
- Не хочу!
- А... а... а... посмотрим.

Ни *да*, ни *нет* — этих слов он особенно не терпел. Весьма не любил также писать. Когда с ним разговаривали, он хладнокровно и внимательно слушал, придерживая одной рукой подбородок, тогда как другая рука придерживала локоть первой. На все у него было свое мнение, раз принятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и, когда противник, считая наконец дело за собою, *чуть-чуть* проговорится, Гранде отвечает:

— Нет, не могу! Нужно посоветоваться с женой; без нее, вы знаете, я ни шагу не делаю.

А жена его, сущая илотка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она была у него вроде щита. Гранде ни с кем не знакомился, никого не звал к себе, да и сам ни к кому не ходил. Он не любил шума и скупился даже и на движение. Ни у кого ничего не трогал и никого не беспокоил из уважения к собственности. Впрочем, несмотря на свое сладкоречив, двусмысленность и осторожность, бочар всегда выказывался настоящим бочаром в словах и ухватках, особенно дома, где он не любил воздерживаться.

С виду Гранде был футов пяти ростом, плотный и здоровый. Ноги его были двенадцати дюймов в окружности; мускулист и широкоплеч. Лицо круглое

и рябоватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый, жадный, взгляд василиска. Лоб, изрезанный морщинами, с замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели, все в одно время — *золото и серебро*, по выражению охотников пошутить, вероятно не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его висела красная шишка, в которой иные люди склонны были усматривать тайное коварство. Целое выражало тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм скупца. Замечали еще в нем одно — привязанность, любовь к своей дочери Евгении, единственной наследнице. Походка, приемы выражали самоуверенность, удачу во всем; и действительно, Гранде, хотя тихий и уклончивый, был твердого, железного характера.

Одежда его была всегда одинакова; в 1820 году он одевался точно так же, как и в 1791 году. Толстые башмаки с медными застежками, нитяные чулки, панталоны короткие, толстого темного сукна, с серебряными пуговками; шерстяной жилет с желтыми и темными полосками, застегнутый сверху донизу, и просторный, каштанового цвета сюртук, белый галстук и широкополая квакерская шляпа; перчатки у него были толстые, неуклюжие, столь же прочные, что перчатки жандармов, — в два года одна пара; всегда методически раскладывал он их в одном и том же месте, на полях своей шляпы.

Более ничего не знали о нем в Сомюре. Шесть лиц имели право посещать его дом.

Самым значительным лицом из первых трех был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом сомюрского суда первой инстанции Крюшо-племянник к фамилии своей присоединил

еще словцо *де Бонфон* и всеми силами старался называться просто *де Бонфон*, а потому обыкновенно подписывался К. *де Бонфон*. Неловкий проситель г-на Крюшо, забывший *де Бонфона*, поздно уже замечал свою ошибку. Президент особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом, но льстил, улыбался, дружил тому, кто называл его *де Бонфоном*. Президенту было тридцать три года. *Бонфон* было название его поместья (*Bonae Fontis*), приносившего ему тысяч до семи ливров дохода. Кроме того, он был единственным наследником своего дяди, нотариуса, и другого дяди, аббата Крюшо, избранного в капитул св. Мартена Турского; оба они слыли довольно богатыми. Трое Крюшо, поддерживаемые порядочным числом кузенов, кузин и родней почти двадцати домов сомюрских, составляли свою особую партию, как некогда фамилия *Пази* во Флоренции, и, подобно *Пази*, Крюшо имели противников.

Г-жа де Грассен, мать двадцатичетырехлетнего юноши, частенько приходила к г-же Гранде составлять с ней партию в лото, надеясь непременно женить *своего возлюбленного Адольфа* на девице Евгении Гранде. Г-н де Грассен, банкир, помогал жене непрерывными услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Грассенов имели тоже верных союзников — кузенов, кузин и т. п.

Со стороны же Крюшо работал их аббатик, Талейран в миниатюре; достопамятно поддерживаемый братом-нотариусом, он с честью выдерживал бой с банкиршей в пользу своего племянника-президента. Битвы де Грассенов с тремя Крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Сомюре.

Кому-то достанется Евгения: президенту или Адольфу де Грассену?

Задачу разрешили тем, что де не достанется ни тому ни другому, что бочар зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе как пэра Франции, который бы решился взять в придачу к двумстам тысячам ливров годового дохода все бочки своего тестюшки.

Другие выставляли на вид дворянство и богатство де Грассенов; говорили, что *Адольф ловок, хорош собою и что кого же и выбрать, ежели не его? Разве уж найдется какой-нибудь папский племянник — тогда дело другое, а что и теперь уже много чести Гранде, которого весь Сомюр видел с долотом в руке и когда-то санюлотом.* Наблюдатели заметили, что г-н Крюшо де Бонфон мог ходить к старику во всякое время, а Адольф де Грассен — только по воскресеньям. Говорили, что г-жа де Грассен, более связанная с женщинами семьи Гранде, чем представители дома Крюшо, могла внушить им некоторые мысли, которые рано или поздно должны были привести ее к победе. Им отвечали, что аббат Крюшо — претонкая штука и что если сойдутся где аббат да женщина, так силы всегда одинаковы. «Рукояти их шпаг всегда на равном расстоянии», как выразился один досужий сомюрский остроумец.

Старожилы полагали, что Гранде не захотят выпустить добра из фамилии. По их мнению, Евгения непременно выйдет за своего кузена, сына купца Гильома Гранде, богатейшего виноторговца оптом в Париже. Обе сомюрские партии возражали им тем, что, во-первых, старики уже тридцать лет как не видались друг с другом; во-вторых, что парижанин не так думает устроить судьбу своего сына, что он мэр округа, депутат, полковник Национальной гвардии, судья в коммерческом суде; что он давно уже отступился от сомюрских Гранде и ищет сыну дочь какого-нибудь дешевенького наполеоновского герцога.

И много было еще говорено о богатой наследнице, почти на двадцать миль кругом и даже в омнибусах, ходивших между Блуа и Анжером.

В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фруафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекой, лесом, поступило в продажу; молодой маркиз де Фруафонд продавал его по необходимости, нуждаясь в деньгах. Крюшо с союзниками упростили маркиза не продавать имение по частям. Нотариус представил ему все невыгоды, все хлопоты продажи по участкам, особенно в получении денег с покупателей, что де лучше продать все разом и вот, например, Гранде готов заплатить хоть сейчас. Тогда владение Фруафонд было куплено стариком, и он, к величайшему удивлению сомюров, заплатил, не поморщившись, все три миллиона чистыми деньгами, звонкой монетой. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане.

Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Сомюра во Фруафонд, и поехал осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил капиталы по пяти на сто, и тут же задумал округлить маркизат Фруафонд, присоединив к нему и свои земли. Но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах аббатства Нойе.

Теперь понятна ли будет вся значительность выражения: *дом господина Гранде*? Дом этот был наружности мрачной, угрюмой, а выстроен был он в самой высокой части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из мелового песчаника — белого луарского камня, слабого, мягкого, не выносившего более двухсот лет при постройках.

Множество углублений, дыр и трещин неправильной, разнообразной формы, изрытых временем в столбах и на своде входа, рисовалось на них причудливыми, фантастическими арабесками и придавало им вид выветрившихся глыб готического зодчества. Все в целом походило несколько на крыльцо какой-нибудь городской тюрьмы. Выше свода был барельеф из твердого камня, с почернелыми и попорченными фигурами, изображавшими четыре времени года. Над барельефом тянулся плинт, из-за которого возвышались вершинки свои дикие растения и деревья, случайно зародившиеся в трещинах камня, — желтая стеница, повилика, папушник и молоденький вишенник, впрочем, уже довольно высокий.

Толстая дубовая дверь, черная, потрескавшаяся, слабая с виду, была твердо скреплена толстыми железными болтами, симметрически на ней расположенными. Маленькое квадратное окошечко с толстой заржавевшей решеткой было прорезано в дверях калитки; в эту решетку колотили молотком, привязанным тут же к кольцу. Этот удлиненный молоток, из разряда тех, которые наши предки называли «маятником», походил на жирный восклицательный знак; при тщательном изучении антикварий мог бы различить на нем следы шутовской фигуры, некогда изображенной здесь и совершенно стертой длительным употреблением.

Глядя через решетку, сквозь которую когда-то, в эпоху гражданских войн, высматривали друга и недруга, можно было заметить в конце длинного темного свода несколько полуразбитых ступеней; они вели в сад, живописно разбросанный около древних стен укреплений, позеленевших и обросших мхом и плющом. Далее за стенами, над укреплениями, виднелись дома и зеленели сады соседей.

Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была *зала*. Вход в нее был прямо из ворот. Многие знают, какое значение имеет зала для обитателей маленьких городков в Турени, Анжу и Берри. Зала в одно и то же время могла служить прихожей, гостиной, кабинетом, будуаром, столовой; зала — это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания; в эту комнату сосед-парикмахер два раза в год приходил стричь волосы старика Гранде; сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочный с мельницы. Два окна этой комнаты с дощатым полом выходили на улицу. Комната сверху донизу была обшита темным деревом со старинной резьбой; потолок с выступающими балками был также расписан в старинном вкусе и под цвет обшивки стен; пространство между балками было густо выбелено, но все было старо и пожелтело от времени.

Комната нагревалась камином, над которым было вделано в стене зеркало зеленоватого стекла и с резанными наискось боками, которые сияли ярко от преломлений лучей света в гранях окраин зеркала вдоль стильной готической рамы с инкрустациями.

По бокам камина стояли два жирандоля, медные, позолоченные, с двумя рожками. Когда снимали эти рожки со стержня, на котором укреплен был общий конец их, то мраморный пьедестал с медным стержнем, в него вделанным, годился для каждодневного употребления как обыкновенный подсвечник. Кресла и стулья старого фасона были обиты вышитой тканью с рисунками, изображавшими сцены из басен Лафонтена; но трудно было уже разобрать эти рисунки: так они были потерты и изношены от времени и употребления. По четырем углам комнаты стояли этажерки, а в простенке между окнами — ломберный столик наборной работы; верхняя складная доска его сделана

была в виде шашечницы. Над столом, в простенке, висел овальный барометр черного дерева, с золочеными каемочками, испачканный и изгаженный кругом мухами. На стене против камина висели два портрета, писанные пастелью, — один с покойного г-на Ла Бертельера, изображенного в мундире гвардии лейтенанта; другой портрет изображал покойную г-жу Жантилье в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турецкой материи. Толстые шелковые шнуры с кистями церковного убранства связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорены господином Гранде в свою пользу при покупке дома, равно как и зеркало, стенные часы, ковровая мебель и угловые этажерки розового дерева.

В амбразуре окна, ближайшего к двери, стоял соломный стул госпожи Гранде; он возвышался на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед ним стоял простенький рабочий столик из выцветшего черешневого дерева. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна.

И целых пятнадцать лет прошло день за днем, а мать и дочь постоянно просиживали целые дни на одном и том же месте за своим рукоделием, с апреля месяца до самого ноября. С первого числа мать и дочь переселялись к камину, потому что только с этого дня в доме начиналась топка, которая потом и оканчивалась 31 марта, несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени. Тогда Длинная Нанета сберегала обыкновенно несколько угольев от кухонной топки и приносила их на жаровне, над которой мать и дочь могли отогреть свои окостеневшие от холода пальцы в наиболее суровые вечера или утра апреля и октября.

Все домашнее белье лежало на руках матери и дочери; весь день уходил у них на эту работу, так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделия, то приходилось работать по ночам, обманывая отца ради ночного освещения. Уже с давних времен скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери, равно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака.

Одна только Длинная Нанета могла ужиться в услужении у такого деспота, как старик Гранде. Целый город завидовал старику, видя у него такую верную служанку. Длинная Нанета, получившая свое прозвание по богатырскому росту (пять футов восемь дюймов), служила уже тридцать пять лет у господина Гранде. Она была одной из самых богатых служанок Сомюра, хотя жалованья получала всего шестьдесят ливров. Накопившуюся сумму, около четырех тысяч ливров, Нанета отдала нотариусу Крюшо на проценты. Разумеется, эта сумма была для нее весьма значительна, и всякая служанка в Сомюре, видя у бедной Нанеты верный кусок хлеба под старость дней ее, завидовала ей, не думая о том, какими кровавыми трудами заработаны эти денешки.

Когда ей было двадцать два года, она была без хлеба и без пристанища; никто не хотел взять ее в услужение по причине ее необыкновенно уродливой фигуры, и, разумеется, все было несправедливо. Конечно, если бы природа создала ее гвардейским гренадером, то всякий бы назвал молодцом такого гренадера; но, как говорится, все должно быть к стати. Нанета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где ходила за коровами, явилась в Сомюр и, воодушевленная уверенностью и надеждой, начала искать всюду места и не падала духом, готовая принять любую работу.

В это самое время Гранде собирался жениться и стал подумывать о будущем хозяйстве. Нанета явилась кстати, тут как тут. Как истинный бочар, умея ценить физическую силу в своем работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя геркулеса-работницу, держащуюся на своих ногах, как шестидесятилетний дуб на своих корнях, с могучими бедрами, с квадратной спиной, с руками возницы и столь же непоколебимой честностью, сколь незапятнанной была ее нравственность. Он с наслаждением смотрел на ее высокий рост, жилистые руки, крепкие члены; ни безобразие солдатского лица Длинной Нанеты, ни его кирпичный оттенок, ни рубище, ее прикрывавшее, не уstraшили Гранде нисколько, хотя он еще находился в том возрасте, когда сердце живо откликается на подобные явления. Он принял ее в свой дом, одел, накормил, дал ей работу и жалованье. Крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину; Нанета плакала потихоньку от радости. Бочар завалил ее работой. Нанета делала все: стряпала кушанье, приготавливала щелок, мыла белье на Луаре, приносила его на собственных плечах, вставала рано, ложилась поздно, во время сбора винограда готовила обед на всех работников, смотрела за ними, как верная собака, стояла горой за соломинку из добра господского и без ропота исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.

После двадцатилетней верной службы Нанеты, в 1811 году, счастливом для виноградников, Гранде решился наконец подарить ей свои старые часы; это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, он дарил иногда ей ветхие башмаки свои, но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранде: они были всегда донельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали Нанету скупой, и старик полюбил

свою служанку, полюбил ее, как верную старую собаку; Нанета позволила надеть себе колючий ошейник, уже не причинявший ей никакого беспокойства.

Она не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось иногда обвесить ее при выдаче хлеба к остальной провизии. Не жалуясь, сносила иногда и голод, потому что бочар приучал своих домашних к строжайшей диете, хотя в этом доме никто никогда не был болен. Наконец Нанета стала настоящим членом семейства; она привязалась всей силой души своей ко всем членам этой фамилии; она смеялась, когда смеялся старик Гранде, работала, когда он работал, зябла, когда ему было холодно, и отогревалась, когда ему было жарко. Как отраднo было сердцу Нанеты, привязанному святым, бескорыстным чувством благодарности к благодетелю своему, в свичке с ним, в неограниченной к нему преданности! Никогда ни в чем не мог упрекнуть сварливый, скупой Гранде свою верную Нанету; ни одна кисть винограда не была взята ею без позволения; ни одна груша, упавшая с дерева, не съедена потихоньку. Нанета берегла, хранила все, заботилась обо всем.

— Ну, ешь, Нанета, полакомься,— говорил иногда Гранде, обходя свой сад, где ветви ломались от изобилия плодов, которые бросали свиньям, не зная, куда девать излишек.

Отраднo было бедному созданию, когда старик изволил смеяться, забавляться с ней: это было очень, очень много для бедной девушки, призренной Христа ради, вытерпевшей одни лишения да побои. Сердце ее было просто и чисто, и душа свято хранила чувство благодарности. Живо помнила она, как тридцать пять лет назад она явилась на пороге этого дома, бедная, голодная, в рубище и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом:

— Ну, что ж тебе нужно, красавица?

И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в голову, что его бедняжка Нанета целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливого, не знала, не испытала ни одного наслаждения в жизни, самого невинного, данного в удел женщине, — наслаждения нравиться, например, — и сможет когда-нибудь предстать перед Творцом более непорочной, чем сама Дева Мария; и Гранде, в припадке жалости, говорил иногда:

— Ах, бедняжка Нанета!

И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор, блестящий неизъяснимым чувством благодарности. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло звено из непрерывной цепи нежной дружбы и бескорыстной преданности служанки к своему господину. И это сострадание, явившееся в черством, окаменевшем сердце старого скряги, было как-то грубо, жестко, носило отпечаток беспощадной жестокости. Старик у было любо пожалеть Нанету по-своему, а Нанета, не добираясь до настоящего смысла, блаженствовала, видя любовь к себе своего господина. Кто из нас не повторит возгласа: «Бедняжка Нанета!..» Творец узнает своих ангелов по интонациям их голосов и таинственному звучанию их жалоб.

Много было семейных домов в Сомюре, где слуги содержались лучше, довольнее, но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуясь, всегда говорили: «Да чем же озолотили эти Гранде свою Нанету, что она за них в воду и огонь пойти готова?»

Кухня Нанеты была всегда чиста, опрятна; все в ней было вымыто, вычищено, блестяло; все было заперто, и все мерзло от холода. Кухня Нанеты была кухней настоящего скряги. Когда Нанета кончала мытье посуды и чистку кастрюль, прибирала остатки

от обеда и тушила свой огонь, то запирала свою кухню, отделявшуюся от залы одним коридором, являлась в залу с самопрялкой и садилась возле господ своих.

На все семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Нанета спала в полутемном коридоре. Только железное здоровье Нанеты могло выносить все привлекательности ночлега в холодном коридоре, из которого она могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи. Как дворовая собака, она спала вполглаза и слышала во все уши.

Описание других частей дома встретится вместе с повествованием происшествий этой истории; впрочем, очерк залы, парадной комнаты в целом доме, может служить масштабом нашей догадки об убожестве остальных этажей его.

В 1819 году, в одно из средних чисел ноября, когда начало уже смеркаться, Нанета затопила в первый раз печку. Осень была весьма хорошая. Этот день был знаком всем Крюшо и всем де Грассенам: шесть бойцов на жизнь и на смерть готовились явиться в залу Гранде, лстить, кланяться, скучать и уверять, что им весело.

Утром, в час обедни, весь Сомюр мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанеты в приходскую церковь, и всякий вспоминал, что этот день — праздничный у старика Гранде, что этот день — день рождения его возлюбленной дочери Евгении. Г-да Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше де Грассенов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов. Букет президента Крюшо был искусно обернут белой атласной ленточкой и перевязан золотыми шнурками.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Провинциальные типы	5
Глава II. Парижский кузен	42
Глава III. Любовь в провинции	62
Глава IV. Обещания скряги. Клятвы любви	104
Глава V. Семейные горести	153
Глава VI. И так всё на свете!	195
Заключение	217